## Поэль Карп

# Просвет

1953 - 1965

Петербург

## Поэль Карп

# Просвет

1953 - 1965

Петербург 2013 УДК 82.14=161.1 ББК 84Р1-5 К26

### Поэль Карп.

Просвет. Стихотворения. – СПб., 2013. – 200 с.

ISBN 978-5-98709-664-2

## Горстка снега

1953 - 1958

Есть некие слова без видимого смысла, в них искренность жива, да ложь на них нависла,

невольный их удел – навеки быть моими, но как бы я хотел теперь расстаться с ними.

Я повторяю вслух слова совсем простые, я вспыхнул, я потух, и вот они застыли,

куда-то к небесам слова уходят эти... Не понимаю сам, зачем живу на свете.

8.12

Весна убегает по следу за северной тающей тьмой, и празднует солнце победу над нашей невзрачной зимой,

и с елки снимают игрушки, ломая засохшую ель, и в классы играют девчушки смурной провожая апрель.

Взгляни же, ну, сделай же милость, хоть день проживи без забот. Не правда ли, все изменилось и все, как по маслу, пойдет?

А жизнь твоя стала короче, чем в полдень становится тень, и белые кажутся ночи светлее, чем пасмурный день.

В конце апреля настигает дурная память февраля, и снег слежавшийся не тает, и не бежит вода в поля.

Лучи ли солнечные слабы, или рассеян солнца свет? Все говорят: весне пора бы, а, между тем, весны-то нет.

Мы в парках вычистим аллеи, цветы насадим, - все не то, из граждан те, кто посмелее, уложат в нафталин пальто,

а солнце вдруг проглянет малость, и снова – хлопьев белизна, как будто где-то задержалась и опоздала к нам весна.

Она придет в конце июня, когда положен летний зной, и только жизнь прожившим втуне она покажется весной.

24.05

А был он – детина огромного роста, ревел – точно в трубы трубя, все то, что другому давалось не просто, он запросто брал на себя,

он в ногу шагал с нашим временем бурным, и слез не любил потому, о месте натурщика в классе скульптурном мечтать не случалось ему.

Откуда же горе, и горечь откуда и голос откуда такой? Какого еще мы потребуем чуда, видавшие вечный покой?

Начнем ли распрашивать мертвое тело любезен он был или груб? Запомним ли то, что слететь не успело с его перекошенных губ?

Мы часто глядим на чужие портреты, на книги чужие глядим: великие были на свете поэты, да счастья не выпало им.

Потомки опомнились, годы сгорели, бумаги истлели в столе, и трудно понять, умирая в апреле, зачем ты чудил на земле.

Давным давно, не помню дня, решил я жизнью жить особой, тогда глядели на меня с презреньем, жалостью и злобой.

Не знал я лучшего пути, чем тот, неведомый доселе, каким надеялся уйти от каждодневной карусели.

Тогда легко слагался стих, лишь одного и нехватало: похожий мало на других, я на себя похож был мало.

Теперь я начал жить как все, пусть на меня не смотрят косо: верчусь, как белка в колесе, и палки мне суют в колеса.

Заборы да заборы, куда ни кинешь взгляд, собак цепные своры имущество хранят,

в тени деревьев дачи, на сонных лицах спесь, но, так или иначе, сойти ты должен здесь.

Взгляни, куда как весел озерный этот край! Но кто здесь куролесил, ты лучше не гадай,

и слов невольных горстку не растравляй тоской в пути к Зеленогорску от станции Ланской.

Когда судьба не ладит с нами, стерев с лица расхожий грим, двумя нехитрыми цветами мы целый мир изобразим.

Хоть города, сады и нивы узнать не сразу сможешь ты, но будут все-таки правдивы их немудреные черты.

Ты можешь вспомнить красок десять, но будет каждая — не та, ты можешь радугой завесить простые самые цвета,

но ты дознаешься однажды, что не спасет благая ложь, и если я умру от жажды, то ты от жадности умрешь.

Пустым пророчествам не верь и не ходи к пророкам, путь поражений и потерь не ограничен сроком,

но есть положенный удел, не кара и не милость, пусть ты не этого хотел, но так оно случилось.

Жил, как жил, как люди жили рядом, не любил с другим встречаться взглядом, добиваться не хотел ответа — отчего бы то, к чему бы это?

И доволен был своим рассудком, и счет жизни отмерял по суткам, за большим столом один обедал, никому воды стакана не дал.

Все, что объявилось в эти годы, объяснял законами природы. Оттого и голос твой отныне — голос вопиющего в пустыне.

С какой-то странной силой, так, что едва дышу, «Господь, меня помилуй!» – всевышнего прошу,

не доброго сужденья прошу о деле злом, прошу, как снисхожденья, воздать мне поделом.

А он со мной, как с другом, болтать пустился вдруг: «Воздал бы по заслугам, – не знал твоих заслуг.

И за дела плохие с тебя взыскать бы рад, да ведь, что есть такие, не знал я тоже, брат».

И не прибавив слова, меня оставил бог, ни доброго, ни злого, не сотворив, хоть мог,

и с ним простившись, мне бы чудно было опять коптить, как прежде, небо и землю удобрять.

Как безответна в январе притихшая природа, лишь сосны в снежном серебре встречают нас у входа,

и ты глядишь на старый дом, где был на крыше аист, согреться давешним теплом среди зимы пытаясь,

и словно слушаешь весны подспудное броженье, и вновь несбыточные сны сулят преображенье.

Я живу в небывалой стране, надо мной ее тяжесть нависла, но скрывать, что близка она мне, я не вижу особого смысла.

И богата – и как же бедна! И окрепла – и как же устала! О, найдется ли в мире страна, чтоб собой дорожила так мало!

Кто-то встал ей на горло пятой и, деля ее с жадной оравой, стал бахвалиться славой пустой и глумиться над подлинной славой.

Я провел эти годы один и, не сетуя толком на это, просвещал молодых балерин, постигая премудрость балета.

Но пройдут понемногу года, проведенные в страхе и дреме, и, надеюсь, уйдет без следа тот, чье имя жило в каждом доме,

и пускай в новизне этих лет, выйдя из лесу просекой узкой, не один только русский балет, но и гений прославится русский.

Зима бредет по крышам, проходит над страной, и стон не каждый слышен под коркой ледяной.

На ледяной коросте лежит пластами снег, и кажется, что в гости пришел сюда навек.

Но птиц заблудших стая уже приносит весть, что есть судьба иная, что солнце где-то есть,

и голос наважденья зовет тебя в поля, где ждет освобожденья промерзшая земля.

Пройдет, как ей положено, любовь, с иконы позолота слезет живо. Иронизируй, умничай, злословь, — а не удержишь нового порыва.

Но там, где остановится твой взгляд, с поверженной богиней встретишь сходство, и в глубине души ты будешь рад: любовь проходит — сердце остается.

Не хочу я пересчета слов и строчек на рубли. Если есть на небе кто-то, то мольбе моей внемли:

пусть на свете жить, как птица, я, действительно, смогу, и не стал тогда бы льститься я на длинную деньгу.

Ведь поэзия – некстати размотавшаяся нить, и, не думая о плате, легче правду говорить,

но силен закон обратный и примера нынче нет, чтоб поэзией бесплатной прокормиться мог поэт.

Кому достается даром судьбы хрустальная нить? Когда становишься старым, сильнее хочется жить.

Еще бы встал из развалин, да вот пропал аппетит. Чего ты, спросят, печален? И то ведь, – кто не грустит?

И мы не ведали братства, тревожный встречая взгляд, так стоит ли удивляться тому, что губы горчат?

Бездожие ли, война ли, за все заплатит сполна? Мы все о войне гадали. А, может, и впрямь война?

Опять за окном убегают платформы, и поезд летит под уклон. Спасения ищем с тобой до сих пор мы в бессильных мечтах о былом.

А бог не торгует подержанным счастьем, не копит его про запас, он тоже бессилен, он тоже не властен спасти и помиловать нас.

И в мир, уходящий от поезда влево по старой заросшей тропе, идешь ты как тень, без любви и без гнева, и лгать вынуждаешь тебе,

и тенью встаешь за вагоном последним, и таешь, как дым над трубой. Но я-то не верю мистическим бредням, как будто и не жил с тобой.

В рассветной суматохе твои тускнеют сны, и жадно ловишь крохи ушедшей тишины,

но, разрывая в клочья сплетения огней, покой минувшей ночи уходит вместе с ней.

Пришла весна похожая на то, что будет впредь, – до старости не дожили, а надо умереть,

проститься надо попросту со всем, что есть вокруг, и приложиться к образу, и усмехнуться вдруг.

Любовь моя, жена моя, ужели ждет нас мгла и впредь такая самая, как до сих пор была?

Бескормица, распутица, – и думаешь опять: пускай скорее сбудется, чему не миновать.

В тот длинный год, глухой и злобный, мы жили где-то под Уфой, но, споря с памятью надгробной, мы были молоды с тобой.

Не как сейчас – за два квартала, а сквозь бураны да снега я провожал тебя, бывало, куда-то к черту на рога.

Шел снег, шел дождь, листва летела, год пролетел, за ним другой, и, помню, не было нам дела до бессердечности людской,

еще душа моя не знала, в твоей зарытая груди, что в жизни странностей немало, а чудаков хоть пруд пруди.

Но в школьной клетчатой тетрадке, где ты по-прежнему жива, стоят, как прежде, в беспорядке те злополучные слова,

такой, как был, деревьев шелест и, как тогда, шумит вода... Куда же годы эти делись, пропала молодость куда?

Свинцово-синий небосклон необозрим и чист. Роняет сгорбившийся клен последний желтый лист.

Куда беднягу понесет по выцветшим лугам, с каких он солнечных высот упал к твоим ногам?

Мне говорят, – в который раз, – что не об этом речь, но от него бессонных глаз я не могу отвлечь,

когда, замедлив свой полет, он падает у ног. И не поймет его лишь тот, кто не был одинок.

10.10.55

Вновь дождь по крыше бьет дощатой, не перестанет он, не жди, не жди от осени пощады, когда заладили дожди,

слезам подобно человечьим им не пройти в единый миг, но попрекать тебе их нечем и глупо сетовать на них.

А ты ведь радовался прежде шальному ливню в летний зной, и как несбыточной надежде, ты рад был дождику весной,

и даже в зимний, помнишь, холод, когда не дождик шел, а снег, еще как будто был ты молод и отыскать умел ночлег.

Так отчего же в час осенний ты от него добра не ждешь, И не сочтешь уже спасеньем Всю ночь в окно стучащий дождь?

Так для какой же тайной цели он льет из облачной гряды? Он замывает на панели твои вчерашние следы.

7.11

Приметы осени просты: дожди идут сперва, и не разводятся мосты, и поднялась Нева,

поблекшим золотом своим завален Летний сад. Мы просыпаться не хотим, и птицы тоже спят.

Зима безжалостно сковала Неву и невские мосты, и все, чего недоставало, на время обретаешь ты.

Сперва на лед ступаешь колкий, а там и на Дворцовый мост. Но надоели недомолвки, хоть ты теперь не так и прост.

Уйди от них, уйди навеки, как говорят, живи не зря! Но хоть в моря впадают реки, не переполнятся моря.

Живи от них на расстоянье, чтоб скоротать скорей свой век. Но и в безвольном прозябанье все ищет смысла человек.

25.11

Снег идет большими хлопьями по дорогам и дворам. Нет, ухватками холопьими с ним уже не сладить нам,

не прикинуться послушными, не закутаться во тьму, хоть оставит нас бездушными то, что ведомо ему.

Он летит по следу лыжному, заметая скользкий наст... Ты подашь монету ближнему там, где гроша он не даст.

Но душа молчит отпетая, как ведется испокон, толком даже и не ведая, что сегодня прячет он.

С предуказанной суровостью засыпая целый мир, он доходит странной новостью до насиженных квартир.

Оттого ты нос повесила И расстроен наш ночлег...

Потому и будет весело, если таять станет снег.

23.03

Я музыку Бизе к «Арлезианке», как следует, не слушал до сих пор, но радио, скучая на стоянке, включил для развлечения шофер.

Не то, чтобы была она прекрасна, как принято об этом говорить, но попросту оборвалась напрасно долготерпенья крученая нить,

и было спасено каким-то чудом средь наших бесконечных перемен таившееся некогда под спудом, неведомое автору «Кармен».

Кто-то был, кто жил в тревоге, кто в жестокий этот час на вселенские дороги вышел, ведая о нас.

Он бредет по ним слабея, он стучится в каждый дом, и, впустить его не смея, мы его не узнаем.

Довелось бы мне едва ли вновь увидеть эти сны, но опять его распяли Рима гордого сыны,

и своей надменной силе покорив опять страну, на других опять свалили эту давнюю вину.

И не то что с новым словом я стучусь в чужую дверь, просто именем христовым я просить иду теперь,

чтоб, когда свершатся сроки и мечом внедрят закон, быть безумным как пророки или распятым, как он.

Вот и снова опасность нависла, но душа-то осталась жива, отчего же лишаются смысла повторяемые слова?

Отчего повторенное дважды заповедное слово мое утолить не могло твоей жажды, но сильней распаляло ее?

Говорят, что естественно это, – для того и на свете живем, чтобы шла, повторяясь, планета эллиптическим древним путем,

и, загадки твердя вековые, находил бы новейший ответ человек, говорящий впервые, именуемый нами «поэт».

Уносится дней вереница, восторженный путаник мой, а ты – как бескрылая птица, которая мерзнет зимой,

и пусть ты про старую рану не вспомнишь до новой весны, я все-таки верить не стану, что где-то сбываются сны.

Но где-то бывает граница прозрачной совсем, как стекло, и сердцу дано воротиться к тому, что когда-то влекло.

Я часто теперь вспоминаю под ветром полегшую рожь и легкому месяцу маю не верю с тех пор ни на грош.

Не боги – какие там боги! Виновны ли боги, когда, чужой покоряясь тревоге, ты сам расточаешь года, –

не зная особенной цели, отчаясь дыханье спасти, стоишь, как слепой, на панели и снег зажимаешь в горсти.

### Не мудрствуя лукаво 1954

I

Не спрашивайте нас, зачем нам жизнь дана. Дана и кончено, дана и с нас довольно, теперь мы расточать сумеем бесконтрольно все, что имеем, все до ниточки, до дна.

О, нам равно милы чужие времена и собственный модерн.

Но нам бывает больно, когда, витийствуя, заденем мы невольно струну гитары, и дрожит струна.

Не потому, что слушали цыган и опьяняет нас воды стакан, не потому, что вышли мы из моды, –

рыдания ее нехороши лишь потому, что в глубине души мы просто жить хотим – таков закон природы.

Ш

Мы просто жить хотим – таков закон природы, не мудрствовать, не подавать пример, зловещих не отыскивать химер, а после не кривиться – вот уроды! –

не залезать в чужие огороды, не исповедовать различных вер, не нарушать покой небесных сфер и океанские не трогать воды.

Мы жить хотим, – но темен каждый шаг, и, кажется, тому, кто нищ и наг, не пересилить дьявольской породы.

Мы знаем, что земная слава – дым, и даже воздаянья не хотим за то, что мы влачим бесцельно годы.

Ш

За то, что мы влачим бесцельно годы, при нашей жизни нам не воздадут, не стоит, значит, бесноваться тут, сходя в метро, то бишь под вечны своды.

Фантасты, сумасброды и сноброды, мы восхваляем каждодневный труд, а слушатели все-таки орут, что глупы мы, коль скоро безбороды.

И требуют извечного почтенья к служителям известного ученья, в котором истина воплощена,

а нам твердят в ответ на все вопросы: за то, что были голы мы и босы должны грядущие воздать нам времена. Должны грядущие воздать нам времена за то, что до сих пор случалось с нами, за глупости, что делали мы сами, когда кружила головы весна,

за ночи, проведенные без сна под обольстительными небесами, когда мы наторелыми глазами читали Салтыкова-Щедрина.

К нам доходила слава вековая сама собой, дверей не открывая, не растворяя пыльного окна,

и мы, с тех пор привыкшие к потерям, ей доверяем, веруем и верим, пускай нам говорят, что истина темна.

#### V

Пускай нам говорят, что истина темна, мы отвечаем, – мы ее отыщем. Но мы не по заброшенным кладбищам пойдем ее искать. Она должна

быть подле нас. Она ведь не княжна, на время приобщившаяся к нищим, — зачем ей возвращаться к пепелищам, хоть даже и была там сожжена.

И нас отнюдь не удивляет весть, что где-то в этом мире правда есть, и что прошли благополучно роды.

Ее неблагодарные сыны, мы от нее ушли, но ей верны, недаром нас пьянит дыхание свободы.

#### V١

Недаром нас пьянит дыхание свободы, не зря досталось нам наследство грозных дней, напрасно нам твердят, что надо жить скромней, и дарят тюбики салола или соды.

Но мы не знаменитые рапсоды, с цевницей приходившие своей, петь на пирах ничтожных сыновей об их отцах восторженные оды,

наследство не обязывает нас твердить о прежней славе всякий раз, когда приходят новые невзгоды.

Бог с ней, не только ведь в окошке свет! Ища спасения от обступивших бед, бессмертными войдут в историю народы.

### VII

Бессмертными войдут в историю народы, которых испытать понадобилось ей, - у них была судьба — куда уж тяжелей, им оставалось лишь у моря ждать погоды.

Но римских императоров походы, дела средневековых королей, кто вспоминает в бурях наших дней – историки, глотая бутерброды?

Так что нам историческая слава, бескровна там она или кровава? Кому, скажите мне, она нужна?

И вправе счесть историю надменной на перепутьях жизни современной свой жребий и судьбу вкусившие сполна.

## VIII

Свой жребий и судьбу вкусившие сполна, как правило, о них рассказывают редко, и все-таки всегда проведает соседка, где побывал сосед, на что жила жена,

вам сообщит она большие имена, спустив их до себя, как желтая газетка, отыщет нужного потомка или предка и выложит их вам, собой упоена,

вам будут называть с восторгом тех, кто испытал лишь временный успех, и кто прошел в значительные лица,

такой неутешительный рассказ в конце концов заденет даже вас, и все-таки всему на свете есть граница! И все-таки всему на свете есть граница! Так люди говорят, хотя границы нет, – что было невозможно сотни лет в один прекрасный день смогло свершиться.

Хлеб на своей делянке жала жница, – делянок, да и жниц, пропал и след, когда-то чудом был велосипед, а нынче на луну ракета мчится.

Бог знает, что сулит нам новый год, не будем же загадывать вперед, не мудрствуйте, друзья, как говорится.

А коль моим не верите словам, читайте предначертанное вам, вглядевшись в окружающие лица.

## Χ

Вглядевшись в окружающие лица и на самих себя взглянув потом, мы различаем лишь с большим трудом, где тут провинция, а где столица,

где нас ждала пригожая девица, а где, наоборот, казенный дом, короче, начинается содом, с которым вынуждают примириться.

И знают все – рабочий, пахарь, воин, что только так сей бренный мир устроен и лишь таков убогий наш мирок.

Ты даже презирая мирозданье, ищи себе любое оправданье – не говори – мне было невдомек.

ΧI

Не говори – мне было невдомек, да и не выходило по-иному. Привык ты тоже к собственному дому и тоже хочешь свой иметь кусок.

Что было делать? Пить томатный сок? Поди-ка притерпись к питью такому! А если зло ты причинял другому, так ведь и он тебя обидеть мог.

По-разному тебе случалось жить, – то мало есть, то слишком много пить, то быть курьером, то вдруг завотделом,

то ты кому-то верил, как дурак, то разуверился во всем, и так вся жизнь твоя промчалась между делом.

XII

Вся жизнь твоя промчалась между делом, – что тут поделать, так уж повелось, и, стало быть, срывать не надо злость на преданных тебе душой и телом,

чтоб о тебе, в делах поднаторелом, судить не стали люди вкривь и вкось, и чтобы вырывать не стали кость, то бишь, заведывание отделом.

Есть новости, известные из книг, они просты, но повторяют их, и в школе на доске их пишут мелом,

но если бы, свою умерив прыть, тебе пришлось их заново открыть, мне странно думать, что ты был бы смелым.

## XIII

Мне странно думать, что ты был бы смелым и чтобы просто ты заговорил, а не как тот заблудший гамадрил, пришедший к путешественникам белым,

который при луне романсы пел им, рассказывал о подлости горилл, а после их же яростно корил за то, что был их ананас неспелым.

Равняться на такого гамадрила жизнь повседневно каждого учила, но шло не каждому ученье впрок,

иной не примирялся с новым веком, иной хотел бы выжить человеком, когда бы даже не был одинок.

### XIV

Когда бы даже не был одинок принесший нам весть о благой надежде, но все бы стало вновь таким, как прежде, и каждый в свой забился уголок,

и твердо знал: вот пол, вот потолок, вот клоп в диване, вот дыра в одежде, а больше ни о чем ни с кем, хоть режьте, – жизнь все равно дала бы знать в свой срок

о том, чего не ведали дотоле, о непонятной человечьей доле, и древние читая письмена,

те, кто придут потом, и те, кто были, в один бы голос вновь заговорили, – не спрашивайте нас зачем нам жизнь дана!

### ΧV

Не спрашивайте нас зачем нам жизнь дана, мы просто жить хотим – таков закон природы, за то, что мы влачим бесцельно годы, должны грядущие воздать нам времена.

Пускай нам говорят, что истина темна, недаром нас пьянит дыхание свободы. Бессмертными войдут в историю народы, свой жребий и судьбу вкусившие сполна.

И все-таки всему на свете есть граница! Вглядевшись в окружающие лица, не говори – мне было невдомек.

Вся жизнь твоя промчалась между делом, мне странно думать, что ты был бы смелым, когда бы даже не был одинок.

# Яблоки в подоле

1959 - 1961

Опять в права вступает лето, не продохнуть и не пройти, и остается без ответа, кто нас когда-то сбил с пути.

Не знаю, в чем был загвоздка и непонятливость моя, что робость девочки-подростка за исступленье принял я.

Минувших дней не постигая, глазею на тебя в упор, но, как была, ты все такая, хоть восемь лет прошло с тех пор.

То не обман, не вероломство, не наважденье, не мираж... Вот – мимолетное знакомство, а спросят – все ему отдашь.

И я опять шагами мерю проспекты, площади, мосты, но отчего-то свято верю, что мне навстречу вышла ты,

и, может быть, каким-то чудом еще достанешь для меня запас лежавшего под спудом, но мне знакомого огня.

Изобилием наречий сквозь события и годы входит голос человечий в голоса живой природы,

голос детства золотого или девичий звенящий, голос крови, запах слова, сердца голос настоящий,

то ли сданный на поруки, то ль подаренный кому-то, – безголосие разлуки и души пустая смута,

а потом холодный голос одичавшего металла, лишь бы сердце раскололось и лукавить перестало.

Случались на веку моем как будто приступы падучей: того казним, того убьем, за что-нибудь, на всякий случай.

Они безгласны. Никогда вновь не срастутся жизней нити, – не причинят они вреда, но и добра от них не ждите.

Даром что ль седые плиты я топчу теперь опять? Мы ведь тем и знамениты, что не любим вспоминать,

и владеет целым светом незатейливый закон, — что раздумывать об этом? — с глаз долой, из сердца вон.

Но порой пустое сходство на крючок цепляет грудь, не совсем оно сотрется, то, чем жил когда-нибудь,

и отчаянная смелость настигает невзначай, — видно, так мне в память въелась, что хоть с мясом отдирай.

И вот мы опять плутаем по городу летом, тебе улетать, — и больше не надо об этом.

Разводят мосты, пора бы и нам расходиться. Что думаешь ты, моя легконогая птица?

Вдоль сонной реки мы медленно двинемся к дому, пускай каблуки стучат по асфальту ночному,

в короткой судьбе, которую лучше не трогай, я все о тебе, о птице моей легконогой.

Тускнеют огни, скрываясь от белого света, ты только взгляни, как тлеет бескровное лето,

на каждом шагу я отодвигаю разлуку и все не могу проститься и выпустить руку.

Прости, прости, – сказать короче мне все равно не по плечу, – но, просыпаясь среди ночи, я увидать тебя хочу.

Чужая женственность ужели не приближенье к этой цели, и воркованье голубей не разрешенье от скорбей?

Ну, что ж, воркуем. Отчего же среди полдневной маяты сосредоточенней и строже становишься внезапно ты?

Не оттого ли, что вначале еще мы смутно прозревали, что нам со временем сулят разуверенье и разлад?

Теперь живу случайным взглядом, уходишь — знаю: быть беде! Казалось, вот была ты рядом, и вот — не угадаешь где.

Как величать прикажешь? Музой? Своим стыдом? Своей обузой? Святыней? Неизбежным злом? Или старинным ремеслом?

Серебряные птицы ныряют с высоты, и надо же случиться, что опоздала ты!

Хотя бы ты заране об этом сообщала сидящим в ресторане воздушного вокзала.

Над стартовой площадкой сегодня мы втроем, кляня свой жребий шаткий, сидим и водку пьем.

Один тут ради милой, другой по делу вроде, о, господи, помилуй, а я в каком же роде?

Но тянем лямку эту, глазеем в высоту, готовые к ответу, – Кого вы ждете? – ТУ.

Художник и прожил недолго, и не был он падок на лесть, какого он стиля и толка – в учебниках можно прочесть,

такие вытаскивать рожи умел он, пожалуй, один. Но мы отвлекаемся все же и от созерцанья картин.

Одними ли только холстами, где красок пожухших слои, исчерпаны были с годами мгновенные всплески твои?

А сколько их было помимо оставивших след на холсте? И где они нынче, незримо когда-то пылавшие, те?

Художник уходит навеки, и мало нам, право, того, что в Мюнхенской пинакотеке останется след от него.

Так пусть он живет суеверней, худым не сдаваясь годам, коль то, что уходит, безмерней того, что останется нам.

Опять на бархатном диване сидим под лестницей вдвоем, узнать пытаемся заране о позднем жребии своем.

Ты держишь яблоки в подоле, смеясь, глядишь по сторонам, – иль мы не ведали дотоле, что их дано отведать нам?

Так вот она, станция Пери, стоянка – пятнадцать минут, однако, былые потери не станем наверстывать тут,

а то заживем по старинке, сорвемся и канем во тьму... Белесой расчетливой финке, пожалуй, и знать ни к чему,

какая господствует смута за гранью дорожных огней... Но если поверить кому-то, то разве одной только ей.

Старею, кажется, старею, – не провожаю до дверей и верить наново не смею виденьям юности моей,

а мимолетное влеченье пришло к нескладице такой, что придавать ему значенье смешно. Пора махнуть рукой

и без остатка раствориться в коловращении земном... И не об этом разве птица кричала ночью за окном,

и я тянул спросонья руки к ее крылатому плащу... Чего ж я вновь томлюсь в разлуке и вновь свидания ищу?

Ты уедешь, я уеду, да и свидимся навряд, а искать тебя по следу мне чего-то не велят,

до тебя не достучатся даже вешние ветра, не расскажут домочадцы, кто звонил тебе с утра.

Но в конце ночей бессонных, а от них я не отвык, в рамах прячется оконных расплывающийся лик,

забываю, вспоминаю, то во сне, то наяву, как назвать тебя не знаю и по имени зову.

Листва горит на кленах и падает опять, мы листьев опаленных не станем подбирать,

и уж не знаю кто там, но кто-нибудь, любя, испытанным расчетом научит жить тебя.

И разве напоследок, без слез и без обид, под сенью голых веток вдруг сердце защемит,

потом все в бездну канет, и время истечет. С чего же вдруг обманет твой правильный расчет?

Снова осень. Которую осень мы стоим над бескровной Невой и апостола жалобно просим, чтобы город помиловал свой.

Ты роняешь какую-то фразу, и слова, как обычно, просты, но до слуха доходит не сразу, что уже не разводят мосты.

Полумрак размывает границу между нами и жизнью самой, и сердца образумить грозится наступившей на горло зимой.

Снег заносит мостовые, нас окутывает тьма, — неужели не впервые начинается зима?

Хармиана и Ирада, я не спрашиваю вас, где теперь моя отрада, в этот сумеречный час.

Улетела в даль морскую та, которой нынче нет. Отчего я не рискую поглядеть ей даже вслед?

Белым снегом завалили, мглой окутали опять, и кромешной этой силе не дано противостать.

Выходит вновь играть в молчанку, пугаться судорожных встреч, и неприступную осанку для пущей важности беречь,

и вопреки приметам вешним, давно ломящимся в окно, вновь выставлять себя безгрешным, коль скоро так заведено?

Нет, я не верю больше чуду и не твержу, как соловей, что я твоим однажды буду, что станешь ты навек моей.

Прощай, простимся навсегда, – как говорят, навеки, беги, как талая вода весной сбегает в реки. Не слишком много ли мы лет от верных прятались примет? Но разве мы заметим, что связаны мы этим?

Кто нас от гибели спасет и кто укажет средство, что нам защитой будет от случайного соседства, от мимолетной болтовни в распахнутые настежь дни?.. Господь не обессудил, и свет не обезлюдел.

Беги, беги по мостовой, стань сызнова крылатой, пусть вслед тебе взирает твой безвольный соглядатай, заройся по уши во тьму, оставь расхлебывать ему крушенье давней веры и новые химеры.

В этом городе тягостно летом, — задыхаешься, окна раскрыв, — и не верь понапрасну поэтам, что и летом он тоже красив,

и не слушай бессмысленных басен, где намешана сладкая ложь. Но и летом он все же прекрасен до поры, пока ты в нем живешь.

Вот и кланяюсь каменным аркам, над заглохшим каналом скорбя, и живу в этом городе жарком, чтобы изредка видеть тебя.

Да простит меня бог, да простит меня бог, если что-то я мог, а чего-то не смог, если было когда, что гневил небеса, и что пел со стыда не на все голоса...

Да простит меня бог, да простит меня бог за сумбурную речь и за выспренний слог, и за каждый мой шаг, и за каждый мой стих, что как звон был в ушах, а посмотришь — затих...

Да простит меня бог, да простит меня бог, на дорогах земных да не будет он строг, пусть прибавит мне сил, если сможет простить. Но за то, что я был, как прощенья просить?

Мы, колдуны и шаманы, даром свой хлеб едим, не исцеляем раны, разве что бередим,

не охраним от боли, не упредим конца, – вроде как поневоле наши стучат сердца,

вроде как бы случайно складываются слова. Может быть, в этом тайна нашего колдовства.

Что ты лампу не зажег, а сидишь без света? И кому бы нам, дружок, рассказать про это?

На другом конце земли в городе Киото, может, мы бы и могли отыскать кого-то,

но предмет твоих забот сух и независим, телеграмм тебе не шлет и не пишет писем.

Белые ночи, белые ночи были куда уж, казалось, короче, и различить не давала заря блеклый, мигающий свет фонаря.

Город висел над водой белоглазой, стены строений страдали проказой, тени шагали по краю земли, мы столковаться никак не могли.

Ты уходила по лестнице длинной, ты уезжала попутной машиной, ты убегала, платок теребя, не было попросту больше тебя.

Молод, и зелен, и влажен был город, мир еще не был на части распорот, и не считал меднолицый рассвет, сколько уже мы не виделись лет.

О, знать бы мне заранее и ведать наперед, что каждое свидание в заклад меня берет,

и все, как будто, в целости, не скис и не размяк, да только не отделаться от этого никак.

Старинный скит. Бревенчатая дверца и рубленный бревенчатый настил. Считай, доколе биться будет сердце, что бог твое терпение простил.

Читай, читай, что сказано в уставах, – что накопил, тем до веку владей. Все нынче кинешь ради губ кровавых и на сторону скошенных грудей.

Опять похолодало, к зиме пошло опять, и солнца-то не стало совсем уже видать,

а было ли в апреле, – про это помолчи, коль скоро не согрели тебя его лучи.

И мы ведь тоже здешние, во всей своей красе, не то чтобы безгрешные, – такие же, как все,

лысеющие юноши, мы судеб не вершим, не спорим до полуночи и водку не глушим,

мы тоже были рады ведь и рады будем впредь самих себя обкрадывать, чтоб только уцелеть.

Особое есть свойство, – совсем и не геройство, не мужество, не честь, не скромность, не терпенье, но, может быть, уменье увидеть все, как есть.

А вслух сказать об этом и значит быть поэтом.

Люблю, робею, доверяюсь, таю... Как без тебя я время коротаю? Молчу, вчерашним встречам тихо вторю, и старые стихи читаю морю, и в одиночестве иду, бродяга, паломничать к подножью Чатырдага, как будто прежде невдомек мне было, что ты меня не то чтобы любила.

Люблю, не спорю, не хулю, не каюсь... Зачем же от тебя я отрекаюсь, и вновь собой овладеваю, словно ты в чем-нибудь и впрямь была виновна? И даже в самый ни на есть последний гляжу, гляжу, гляжу на стул соседний, и прочь иду, еще помедлив малость, сочтя тебя такой, как ты казалась.

Я не печатаю стихов, а их не оглашая, ужель корпеть до петухов охота есть большая?

Да нет охоты никакой. Какая там охота! А только, видно, твой покой еще смущает что-то.

Вот так и будешь много лет ломать и править строчки, и выколупывать скелет из нежной оболочки.

Я не печатаю стихов, но разве дело в этом? Не спать до третьих петухов и значит быть поэтом.

Другим не плачу и собой не торгую. Не в силах забыть про мою дорогую, про стыд и смятение, – с первого дня, как всплыло внезапно: Ты любишь меня?

А, может, немного? А, может, хоть что-то? Ну, что за нелепая, право, забота! Ну, что тебе, кажется, в этом: Не знаю? Чего же я все это день вспоминаю,

и наново каждое слово толкую? За что положили мне участь такую и слепо уверили сердце мое, что ей без меня, словно мне без нее?

Где-то, видимо, сломалось то, чего не склеить вновь. Кто бы знал, что эта малость называется любовь.

Не ищи пустого сходства, не заглядывай в лицо, если встретить доведется постороннее лицо.

Долго места не находит тот, кого согнет беда, Не совсем она проходит, но уходит навсегда.

Спасаемся,

и в ноги не бросаемся, и словно ничего не опасаемся,

и вроде, ничего и не боимся, и от чужого глаза не таимся,

и все же объяснить не можем сами, что это было, что творилось с нами.

Твоим пророчествам не верю, в чужие двери не стучу, затем и праздную потерю, что обольщаться не хочу,

как долгожданного спасенья, не жду пустого воскресенья, и никому не говорю каким я пламенем горю.

А что-то в жизнь такое влазит, чего сперва и не поймешь, чудит, и в доме безобразит и пересказывает ложь.

Ты доверяй воображенью, когда влечет к стихосложенью и тянет, стало быть, опять кому-то тайны поверять.

Но даже ритмо-дисциплина не упасает от греха, когда доводит нас до сплина одушевление стиха.

Отступаемся не вдруг, отбиваемся от рук,

и с другими о своем говорить перестаем,

и не пробуем опять давний вздор перебирать.

Таков уже, видно, порядок, и, стало быть, лучше опять забытых не трогать загадок и локти с досады кусать.

Бывало, ты брови чернила и волосы красила хной, — не знаю, когда это было и было ли это со мной.

Но вот, опознав по улыбке, по тени косой на стене, пугаясь возможной ошибки, ты молча подходишь ко мне,

и долго мы топчемся снова, лепечем бог знает о чем, и только об этом ни слова, как будто нам все нипочем.

Когда отходит новизна случившегося с нами, уже не бродим дотемна за утренними снами,

но улыбаемся во тьму весь вечер до рассвета, хоть не расскажем никому про то, что было это.

## При свете дня

1961 –1962

Ушла последняя волна обыденного гула, как будто вовсе не она в водоворот тянула,

а ты по-прежнему готов, без отдыха и срока, жалеть о горстке горьких слов, отрезанных жестоко.

Засыпаем, но не высыпаемся, отступаем, но не отступаемся, и не дожидаемся, а ждем, то есть, на попятный не идем.

Оттого ли, что мы так устроены, наши злоключения утроены или даже учетверены, если поглядеть со стороны.

Не спихнуть того, что долго тянется. Кто-нибудь возьмет, да и оглянется. Вот и гложет кровь мою и плоть, как положит на душу господь.

С этих пор довольный малым я гоню былую злость, хоть завзятым театралом стать мне снова привелось.

Кем театр заполнен летний, что покажет нынче он, унавожен давней сплетней, новым слухом ободрен?

На песке из колких льдинок, рассеченных на куски, он построит поединок сумасбродства и тоски.

Перекашивают лица нашей опере подстать, а тоска все длится, длится, и скончанья не видать.

Куда девать души своей излишек, мы узнаем не из толстенных книжек, не в театральном постигаем зале... Но разве сами книг мы не писали и, помянув напрасно Мельпомену, не выбегали второпях на сцену?

Куда девать души своей избыток, как сбросить с шеи драгоценный слиток? И отчего судьба у нас такая, — жить, все на свете по ветру пуская, и расточать лежавшее под спудом, доставшееся нам каким-то чудом?

Этот город, забытый и брошенный нами, вырывается вдруг из лесов и болот, то ли вверх по теченью уходит по Каме, то ли вниз по Оке незаметно плывет.

Но не рубят голов, не стреляют из пушек и смиренных поклонов не бьют до земли. Возвышаются маковки ветхих церквушек, да врата городские ржавеют в пыли.

Тишина. Суматошные бегают блики. Был-де город такой, да и был, мол, таков. Только в церкви пустой осыпаются лики возводивших когда-то его мужиков.

Хоть не меда вкусив, но худого изведав, здесь молились святым и не брали в расчет, кто они, на моих чуть похожие дедов и на дедов того, кто мой век пресечет.

Набегает вода. Ставни, что ли, раскрыты? Розовеет слюда в опустевших домах. А глаза чуть раскосые ищут защиты от хулы, от беды, от смятенья в умах.

Мы и славу сулим и добром заклинаем, но уходит на дно неживая краса. Здесь кончается город, как мы его знаем, а отсюда болота идут да леса.

За углом – не за этим, так, значит, за тем, – где-то рядом, поблизости где-то мы, насупясь, молчали, и город был нем, и стояли мы так до рассвета.

Мостовую помыли. Панели мели. Иногда проходили мужчины. И сгорал, исчезая за краем земли, огонек пролетевшей машины.

Вышел первый трамвай, и, ловя его стук, охал дворник, дремавший на стуле, и, взглянув на меня, вырывалась ты вдруг, точно нас ненароком спугнули.

А домой я задворками шел наизусть... Это было. Иль этого мало? И опять я в автобусе старом трясусь и схожу, как всегда, у вокзала.

Заурядный день осенний, холодок, дремота, сплин, день насупленных растений и рассыпанных витрин,

и в пальто каком-то модном, точно вымытом в огне, вместе с воздухом холодным ты врываешься ко мне

неуемной, долгожданной, отнимающей покой, беспощадной, богоданной и бог весть еще какой.

Играем в странную игру – читаем карты по рубашкам, сдаемся маленьким поблажкам и обмякаем ввечеру.

Судьба подобна листопаду, и ты, ручаюсь головой, мог по случайному раскладу узнать печальный жребий свой.

Но притупляются невзгоды, надоедают остряки, и вновь мы тянем из колоды, – опять рассудку вопреки.

В Елабуге, что ли, во весь обозначилась рост, по собственной воле уйдя от людей на погост?

Какая-то малость, довесок на чаше весов, – и жить отказалась в пустыне глухих голосов,

и снег серебрился, на свежем и жалком холме, и месяц постился, подладясь к военной зиме.

Почти что старуха, какой невтерпеж холода, по рвению слуха всегда ты была молода,

в проталинах голых, кровавый оплакавших год, и в век недомолвок твой голос отверстый живет,

и сохнет осина, и никнет под снегом хвоя, – Марина, Марина, ты родина, что ли, моя?

Смятенье и надменность, безволие и власть, — не лги, что современность от этого спаслась.

Веков былая сила, забытая давно, как будто отпустила, а держит все равно.

Узких улиц переплеты и торцы на мостовой... Здесь не спрашивают, кто ты, знают сами, что не свой,

словно ты не носишь груза (хоть и ты к нему привык) от Ганзейского союза здесь сменявшихся владык.

Вдоль домов бредешь спросонок, только как-то все не впрок. Но откуда у эстонок этот плавный говорок?

Он не скоро мне наскучит, как былое ни тумань, оттого меня и мучит древний город Колывань.

Что бы там ни говорили во спасенье наших муз, Александру и Марии оставляю этот груз, эти тощие тетради им отдайте, бога ради, чтоб узнали, наконец, что скрывал от них отец.

Между сумраком и словом есть такая полоса, где несбыточным и новым мир встает на полчаса, в этот мир благоуханный ты ступаешь бездыханный и обыденную ложь понимать перестаешь.

Это падает преграда между жизнью и судьбой. Умереть, должно быть, надо, чтобы стать самим собой. Что бы там ни говорили, Александру и Марии эта странная беда остается навсегда.

Ты что затеяла опять? Но, по весне соскучась ранней, я не хочу возобновлять невнятных тех воспоминаний,

уже не помню, хоть убей, как это было в самом деле, когда для нас и голубей пустые скверы зеленели,

и наши влажные следы не ждали в памяти провала, и я просил попить воды, и что-то в горле застревало.

Так вот он, отрезвленья час, явленье истины последней, — он исцелить сумеет нас от изначальных наших бредней.

Пришел безумию конец, – живем, покою цену зная, но у развенчанных сердец откуда искренность шальная?

Не то чтобы выгляжу старым – усталым бываю скорей, а все же пророчили даром, что стану с годами добрей.

Держусь за пустые бумажки, где ежится стиснутый стих. Отдать бы их Машке и Сашке, кораблики сделать из них!

Ан нет, все им под ноги снова, а там – хоть ни слова в ответ. Не то чтобы время сурово, но попросту времени нет.

Кто лжет, что мы похожи друг на друга, и что теперь в нас общего, скажи, коль не считать взаимного испуга и с ним ожесточения души?

Отвыкли мы от утренних свиданий, очистились от прежнего сполна, но прелесть отдаленных сочетаний по тайному смятению видна.

Есть конец – кончины и конец – разрыва, только нет причины лепетать тоскливо.

Есть конец – разлуки и конец – разлада, но об этой муке поминать не надо.

Есть конец – обвала, и обломков груда. Значит, все сначала, если цел покуда.

Не загадывай загадок, не угадывай примет, и не будь чрезмерно падок на простые «да» и «нет».

Все возможные ответы справедливы до поры, а загадки и приметы — только правила игры.

Где ты, птица-небылица, мой веселый человек? От тебя не отступиться, не опомниться вовек.

Ты и горе и забота, сам не знаю отчего, – ты, должно быть, просто что-то вроде сердца моего.

И огонь моей отваги ты, как водится, зажгла, и опять мои бумаги ты сметаешь со стола.

этот ветер беспрестанно трепыхает надо мной, мне поэтому и странно называть тебя женой.

Пробудилась ото сна востроносая весна,

приподнявшись на постели, потянулась еле-еле,

оглянулась, и опять завалилась, видно, спать.

Выходит, отступаться нам от весен? Выходит, отступаться нам от песен? А божий мир и так уже несносен, нелеп, жесток, сварлив, тяжеловесен.

Какая это странная работа и горькое какое назначенье, — отречься от всего, и отчего-то решить, что это самоотреченье.

Прощай, не взыщи, моя радость, ведь вот оно, стало быть, как, – весеннего таянья градус – как будто свидания знак.

Опять по задворкам плутаем, знакомых увидеть боясь, и старую книгу листаем про чью-то нескладную связь.

Любовь моя глупая, где ты? Опомнись, от сердца отстань! Но мы с тобой оба одеты в какую-то странную ткань,

не мнется она, не садится, и только топорщится вся, а наши открытые лица дождь мочит, всю ночь морося.

Сидим вдвоем и водку хлещем, и все гадаем, что нас ждет, — то золотым, а то зловещим, нам предстает грядущий год.

Меня всегда пугала плаха, как будто плакала по мне, – не оттого ли чувство страха застыло в самой глубине?

Какая мертвая усталость вдруг помогла его изжить? Не слишком долго жить осталось, чтоб жизнью слишком дорожить.

Я не люблю твоей манеры манить и уходить от встреч, давно пора лишиться веры в твою уклончивую речь.

Ты все во мне переломала, так отчего же, ну, скажи, все верит сердце, как бывало, твоей не слишком хитрой лжи.

Поэтом брошенное слово прошло сквозь вековую тьму, хоть и не так уж нынче ново, поскольку вторили ему.

Никому не читаю стихов, то есть, просто не пробую даже, и глазею с прибрежных мостков, что творится сегодня на пляже.

Я, как брошенный в море сосуд, – мне не стоит витийствовать пылко. Если даже меня и спасут, скажут: что там еще за бутылка?

И швырнут ее в море опять под навесом сомлевшие люди. Так на кой же мне черт открывать, что намешано в этом сосуде?

Тоска на сердце налегала, стреляла в грудь из-за угла, пила из каждого бокала и с пьяных глаз тебе лгала.

И мы не сразу, но сумели, судьбу кромсая на куски, смекнуть, что счастье, в самом деле, в преодолении тоски.

## Лиственная аллея

1962 - 1963

А ты, как была, такая, тебя не томят года, тоска не берет людская, чужая не бьет беда,

ступаешь по лжи кромешной, особых не ждешь помех, – зато и слывешь безгрешной и скучной, как смертный грех.

Погоди, роптать не надо, в самом деле, погоди. Иль не вся моя отрада сердце горькое в груди –

горечь слез моих горючих, первой верности обет, и в каракулях и крючьях узнаванье давних лет?

Как нещадно нас ломало от постыдной немоты, — и себя мне было мало, и нужна была мне ты.

Ты, говорят, меня любила и даже бегала за мной, и, как полдневное светило, пылала одурью шальной,

и улыбалась, улыбалась, вся просветленная насквозь, как будто это и не шалость, и не проведают авось.

А я угадывал в приметах бесследно канувшего дня, что терпкий вкус тех встреч отпетых ты любишь больше, чем меня.

Вы едва ли хоть раз не слыхали рассказ о работе, по совести, странной, где всего и делов составителю слов по бумаге маракать пространной.

Составляю слова, составляю сперва из обрывков и старого хлама, а худые потом вытравляю с трудом, так они зацепились упрямо.

Составляют стихи, выставляю грехи, и заботу, и боль, и обиду, а что в жизни земной это было со мной, и не подал бы, кажется, виду

Жизнь уходит понемногу, не навек и не всерьез, чей-то стук – и слава богу, стук дверей и стук колес,

стук копыт и стук мотора, стук ворот и просто стук, без которого ты скоро будешь вроде как без рук,

стук, чтоб не было обидно, стук, чтоб жив был человек, – и всерьез оно, как видно, и выходит, что навек.

Стихи минувшие листаю, терзаю память прежних лет, и отчего бы эту стаю вновь за тобой не слать вослед?

Читаю многоглаголанье тех неоперившихся дум, где бы была — мое желанье, а я — застенчив и угрюм.

Сочтем поэтому за благо сюда с поправками не лезть, и то, что вынесла бумага, пускай останется как есть.

Я только вычел, просто вычел те потаенные слога, где я тебя не возвеличил, но ты была мне дорога.

И снова смерть, и снова даль, и мне опять кого-то жаль, тебя, себя, бог весть кого, — я сам не знаю ничего.

С чего, всегда в нежданный час, должны они уйти от нас, и неизвестно наперед, чей раньше день и чей черед,

и кто здесь мы, и кто они, и чьи года, чьи только дни, когда всего-то и смогли, что бросить в яму горсть земли.

Судьбу свою калеча, я сызмала постиг: законы устной речи одушевляют стих.

У девичьих рыданий и смеха стариков есть тайны придыханий, и стих – он весь таков.

Мы жили без дела на воле, какие уж летом дела, – вот разве у маленькой Оли, которая рядом жила, –

из меха, из шерсти и кожи она заводила собак, и, кажется, мальчиков тоже и девочек делала так.

И вечером видел я часто, а мог бы глядеть без конца, как лезет из недр пенопласта нелепый румянец лица.

Им шили штаны из вельвета и юбки из пестрой тесьмы, а кончилось хилое лето – и в город уехали мы.

Но то, что берег я дотоле и дать не хотел никому, я отдал бы девочке Оле, как ветошь, как пищу уму.

Пускай бы взяла да и сшила, и ситец взяла и фланель, и что-то такое решила, чего не бывало досель.

Когда оставит в дураках сумятица людская, держи-ка ты себя в руках, себя не распуская,

марай листы, потом бросай, бери другие смело, но никогда не раскисай и не сиди без дела.

Как просто верить женщине одной, когда в твоих руках слабеет тело, походишь к ней, потом пойдешь к иной, — нехитрое, как говорится, дело.

Но иногда случается сложней и одуряет множественность лика, и дорожишь избранницей своей за то, что той, другой, равновелика,

а всякий раз когда бываешь с той, как ни верти, и как потом ни сетуй, она берет не тайной красотой, но тем одним, что чем-то схожа с этой.

Когда отсыпаюсь от боли и тяжесть проходит вполне, покой наступает, — дотоле на что бы и надобный мне?

С утра и не вспомнишь ни разу свою же вчерашнюю прыть и стыдную хрупкую фразу стараешься в снег обронить.

Не то чтобы близость кончины, забитый людьми лазарет, — бывают иные причины умерить горячечный бред.

Ну, просто забудешь спросонок засиженный мухами дом и счастлив, как малый ребенок, что солнце висит за окном.

Обучаюсь верности старинной, не терзаюсь тем, что под личиной, с кем встречался – больше не встречаюсь, но живу, не глохну, не кончаюсь, и одна лишь донимает малость – а куда пристрастие девалось?

И откуда странность бы такая, что любовь кончается людская? Пусть бы и влачилась худо-бедно, так ведь нет — стирается бесследно, пропадает напрочь без возврата, словно расставание — расплата.

Заря довезла до вокзала, и свет придорожный погас, — да разве ты прежде не знала, что все развалилось у нас?

Выходит, мы даром пророчим и судьбы коверкаем зря свои и чужие, – а, впрочем, про это не знала заря,

она на углу исчезала, цепляясь за свод голубой, и словно бы в сумраке зала, опять мы сидели с тобой.

А помнишь, как в самом-то деле, вдвоем зарываясь во мглу, мы за руки взявшись сидели в забытом и дальнем углу?

Что значит живопись? Пожар. Пожар в осенней роще, хоть ты еще не слишком стар, чтоб изъясняться проще,

но это пиршество цветов, тебя купивших разом, ты, как назло, принять готов за свой смятенный разум.

Что значит музыка? Набат. И мы воображали, что трубы медные трубят о лиственном пожаре,

а флейта бедная скулит и отдает гобою перечисление обид, заметанных тобою.

Что значит стих? В нем есть и звон колоколов постылых, и тот огонь, с которым управиться не в силах,

и оголтелый листопад в заведомых повторах, которым ты не будешь рад, но не отдашь которых.

Руссо не знал про Робеспьера и не мерещилась ему осатаневшая химера, битком набившая тюрьму,

которой было все едино – Лавуазье или Дантон, и надрывалась гильотина, и не смолкал в Париже стон.

В сентиментальном разве стиле ее вращалось колесо? Зачем же люди говорили, что виноват во всем Руссо?

А ведь виновен был едва ли чужой Женевы бедный сын, желал он только пасторали, когда брался за клавесин,

да что-то в музыку врастало, и шум пошел, и гул возник, и счастье всех внезапно стало несчастьем каждого из них.

Но сердцу веривший в азарте, был виноват он разве в том, что не гадал о Бонапарте, который выскочил потом?

Присутствует в музыке Баха налаженный рыночный быт, и смерть за копейку, и плаха, и счастье, что ты не убит,

разрыв, суета, суматоха, обыденной жизни содом, – а кажется, жили неплохо и веселы были притом.

Но эти земные напасти, случившиеся наяву, кончаются в медленной части, ведущей тебя к божеству.

Душа разрешается ныне, и дух возвышается чист, коль скоро ушел от гордыни и каяться стал органист.

Тогда и прелюбы и пьянства тебе отпускается грех, да только и рай христианства для каждого, но не для всех.

И город гудит в воскресенье, – сегодня гуляет народ, вперед обретая спасенье, коль скоро господь не спасет.

Изверясь и измучась, уже который год понять пытаюсь участь неведомых красот.

Сперва, на них уставясь, их судят свысока, испытывая зависть неясную пока.

Потом их тайна тает, войдя в программы школ, и вдруг надоедает божественный глагол.

А есть простое средство, нетрудное для глаз, помедлить и вглядеться еще хотя бы раз.

А одна знакомая женщина уязвить бы меня могла, и по мне потекла бы трещина от надломленного угла,

а слова бы казнили склизкие, оскверняя ее уста. Всех больней бьют самые близкие, не напрасно знают места.

Валит, валит сегодня с неба, заходит заполночь кутеж, — к утру навалит столько снега, что через двор и не пройдешь.

Щеглом свистишь, собакой лаешь, на чей-то койке спишь чужой, но никому не оставляешь того, что было за душой,

что разошлось в басах гитары, в пустом дрожании струны. А говорят, что мы не стары и прежней женщине верны.

Года сгорают без оглядки, поди пойми, кто их зажег! Вот только взятки с них не гладки, и тает утренний снежок.

Ульянов Александр, студент-биолог, — был путь его печален и недолог, а для кого и вовсе бестолков. Пусть Гриневицкий, коль не Рысаков, убил царя, катившего в карете, но Русью правил Александр Третий, и у дворцовых полинялых стен особых не узрели перемен.

Была пора глухих подпольных сшибок, красивых слов и правильных ошибок, и смелых мальчиков, мечтавших зря об убиеньи нового царя, как о кулечке святочных гостинцев, как будто в мире нет наследных принцев.

Ульянов Александр – один из тех, кого не обольщал такой успех, кто шел на смерть, – и был повешен вскоре, - чтоб в общем не участвовать позоре, не дожидаться славы и наград.

Но не у каждого есть младший брат.

Мы сущий вздор несем сперва, но это вовсе не причуда, а просто лучшие слова еще не выросли покуда.

Когда нас гонят на убой, признаться в этом не робея, прикрыть детей своих собой не успевает Ниобея.

Но, если грянет наш черед, порывшись в памяти, проверьте, мы называли наперед тех, кто повинен в нашей смерти.

Отрекаться, пожалуй, не буду от раскиданных попусту слов. Я, – ты знаешь, – всегда и повсюду на себя их навесить готов.

Но зачем расплываются пятна и смыкаются где-то опять, до того мне бывает понятно, что уже ничего не понять.

Позапрошлых не трогаю каверз, не касаюсь вчерашнего дня, но до сих еще пор отрекаюсь от того, что ты любишь меня.

Пускай бы даже и не вышло, и поворачивал бы дышло, не стал бы ссориться с судьбой и согласился – бог с тобой!

Но по извечному закону ты мне звонишь по телефону, ты хочешь знать, как я живу, и я к себе тебя зову.

Потом меняется погода, ты пропадаешь на полгода, как будто знаешь наперед, что провожатый подождет.

И вдруг в какой-то день из сотни, впотьмах прощаясь в подворотне, ты успеваешь мне сказать, что счастлива была опять.

и дальше катится разлука, и снова о тебе ни звука, и все я верю всякий раз, что случай сталкивает нас.

А если будет беда, ты прибежишь ко мне, начнешь вспоминать тогда о первом счастливом дне, и надо будет понять мне то, что понять нельзя, и ты убежишь опять, по хрупкому льду скользя.

А если будет беда, я к тебе не приду, не надо тебе тогда и знать про эту беду, ты давний счастливый час тогда припомнишь навряд, зачем же нынче о нас нелепицу говорят?

Уже обрываю щемящую боль и даже иронию злую, встречаюсь с тобой, и прощаюсь с тобой и руки, как прежде, целую.

А только не верю тебе все равно, когда обнимаешь, не верю, опять проливая на стол, как вино, давнишнюю эту потерю.

И не то чтобы мне дороги, и не то чтобы ясны, в золотом падучем ворохе распластавшиеся сны.

Ну, еще она поплатится, – говорят который год, а поплиновое платьице, как хотите, ей идет.

Не собьет ее ни лужица, ни собаки во дворах, а летит она и кружится, – вот и смотришь, как дурак.

Пришло тебе на ум винить мои года за то, что я угрюм бываю иногда.

Ты склонна говорить: мол, потянуло вспять, и за былую прыть готова мне пенять.

А я не прячу взгляд и не кусаю рот, считая шаг назад за три шага вперед.

Живем, не можем сдвинуться с обуглившихся мест, а тут, глядишь, гостиница и вроде бы отъезд,

и до отхода поезда мерцают фонари, и кто-то беспокоится: в окошко посмотри!

И дней разноголосица стихает до поры, покуда сердце просится в далекие миры.

Уверяют староверы, – а кому бы лучше знать, будто временные меры начинаются опять.

Помолчать – беда какая, повторять нам будут впредь. На столетья предрекая, трудно день перетерпеть?

Только этой теореме нет решенья никогда: обещают, что на время, а выходит на года.

Пишу по-прежнему стихи и складываю в ящик, не отделяя чепухи от самых настоящих,

и в музу верую свою, как в молодости ранней, хотя смертельно устаю от собственных писаний.

О сколько их было в синодике длинном: о женщине милой, о друге старинном, о прожитой жизни, о странной судьбе, опять об отчизне и вновь о себе.

Хоть кажется кругом случайное сходство, и женщина с другом в итоге сойдется, свершенное веком сползает с орбит. Так будь человеком, пока не убит.

Поныне в виде бога Марса стоит Суворов у реки, разить лукавство и коварство он шел угрозам вопреки,

до сей поры хранятся знаки его великих ратных дел, – бежали взапуски пруссаки, и турок бил он, как хотел.

И впрямь был богом в ратном поле шутник, чудак и нелюдим. Глазами Сурикова, что ли, мы на Суворова глядим?

Не столь уж был он и богатым, хоть удостаивался звезд, был, говорят, отец солдатам и в обхождении был прост.

Он петушком бежал по залу при первом веяньи войны, а знал немилость, и опалу, и наказанье без вины.

И сердце щедрое готово считать, что был он ни при чем, когда казнили Пугачева и в Польше кровь лилась ручьем.

Не трогал бы – уронишь, простынешь на ветру. А помнишь ли Воронеж и памятник Петру?

Твердил он в это лето залаженную ложь, а был на Фальконета нисколько не похож.

Судьбу, как в старой драме, мы отдали в залог, и душными дворами стекал ее итог.

И было горше хлеба, зажатого в руке, разреженное небо в размеренной строке.

Не живем, – то есть, богу не молимся, только ангелам божьим кадим. А не зря от небесного воинства не ушел ни один нелюдим.

Но не каждому под ноги валимся, от шальных уставая атак, хоть по дурости после не хвалимся, что когда-то бывало и так.

Не замечают собственного сходства народы, разделенные враждой, они клянут друг друга, где придется, а схожи, словно не разлить водой.

Лишь в языке их сходство не таится, тут не соорудить китайских стен, кого винить, что перешли границу «трамвай», «троллейбус», «метрополитен»?

С бесовской силой совладает слово, обычай есть перенимать слова, в путях разноязычия земного видны следы всеобщего родства.

Вот мы и кличем жителей России, как выходцев из отдаленных стран: по-гречески – Елена да Василий, и по-еврейски – Марья да Иван.

Отучись глядеть назад и молчи, молчи, как рыбы, а не то и в Летний сад мы отправиться могли бы.

Так и жить бы стали впредь, суматошно, бестолково, и чего туда глядеть? Ничего и нет такого.

## Парапет

1963 –1965

Когда увижу на стене смятенье выгоревших пятен, их пестрый мир бывает мне совсем не то чтобы понятен,

но иногда, лаская взор, они не так уже и плохи, давая выйти на простор моей подспудной суматохе.

А то, спросонок теребя, до головной доводят боли: постой, постой, да у тебя пальто такое было, что ли?

Берет под яблочно с утра все то, с чем справиться старался, и обрывается игра декоративного убранства.

И не сумеешь снять покров с подстриженной природы, пускай на то отдать готов оставшиеся годы.

Гуляет ветер в голове, судьбы не искупая, лишь показалась бы в листве душа твоя слепая,

восстав, как сумеречный дух из ветхого фонтана, — и говорить об этом вслух мне как-то даже странно.

В захламленной летней квартире кого-то, как водится, ждут в коленях набрякшие гири и слаженный наспех уют.

Притиснуться грудью скорее, к нему навалиться на грудь! Бери, как билет в лотерее, - и проигрыш надо тянуть.

Прогревшись теплом человечьим, к тебе воспаряет душа. Глядишь бы ответил, да нечем, и денег с собой ни гроша.

К весне идет, и вроде тает, – такие, стало быть, дела, а муж твой, видимо, не знает, что ты любовника взяла,

а я угадываю это по странной склонности ума, – верна ли давняя примета иль ты обмолвилась сама?

Хоть опечалился вначале, но лучше скрою эту весть, а муж твой ведает едва ли, что у тебя любовник есть.

Любовник твой удал и складен, глядишь, обскачет сатану, с тремя справлялся было за день, ан прихватил еще одну.

А ты нежна в жару и в стужу, кротка и в засуху и в дождь, – куда уж тут подумать мужу, что ты к любовнику идешь.

И то, что снег на крышах тает, а боль оставшаяся зла, еще отнюдь не означает, что ты другого завела.

Мы не дачники, мы неудачники, – и опять пошли о своем: не заглядываем в задачники, а задачки все задаем.

А увенчанные достатком и поднявшие хвост трубой с давних пор сочли недостатком пребывать не в ладах с судьбой.

Оттого и в славе купаются, и домашний блюдут уют, продаются и покупаются, покупают и продают.

Опять дожди, опять дожди, – теперь хорошего не жди: такая, стало быть, примета, что оборвалось лето.

Оно, как видишь, принесло дерев преображенье и, возбудив воображенье, преобразило ремесло.

Пройдись вдоль берега морского, легко знакомство заведи, – живи легко и бестолково, не жди поблажки впереди.

Уже, как будто, и привык, так не выдумывать же порох, – и в мимолетных разговорах скрипит скудеющий язык.

Уже ненастье две недели скребет ногтями по стеклу, сперва и сами не хотели, а нынче тянемся к теплу.

Пустые споры, перебранки, да болтовня о том о сем, — а мы на утро после пьянки лимон подсохнувший сосем.

Душа топорщится и тщится взлететь над городом, как птица, срывая с крыш худую ржу.

Опять накаркает потерю, а я ей верю и не верю, и дотемна в окно гляжу.

Теперь на улице ветрено, не время входить в детали, пускай бы сыграли Веберна, как раньше его играли,

а свист на панели каплющий урчит, забиваясь в щели, и скрипки хватает за плечи, и щиплет виолончели.

Да разве на людной улице пристало теперь такое привыкшим терпеть, сутулиться, надеяться, ждать покоя,

но сердце из рук не валится, хоть после скулит по году, куда же оно девается в безветренную погоду?

Наставительно говорили: грех великий строить в Кремле, кто позволил смешивать стили, тот родной изменил земле!

А глядишь, совладал с веками и сулит искупленье зол, – оттого ли, что белый камень на пилоны его пошел?

И не то, чтобы просто вросся – пробуравил и взрезал быль, как на площади новгородской современный автомобиль.

Осенний день. Нагие острова. Давай поговорим на всякий случай – авось пройдет. А впрочем, ты права, и, видит бог, не начинать бы лучше.

Склоненье лиц, прикосновенье рук, сложенье щек, паденье хилой груди, а там пошло... И ведь с чего бы вдруг, и, бог ты мой, чего не скажут люди?

Вот так и жить, по-прежнему клонясь к привычной лжи, не столь уже греховной, с осенних дней отсчитывая связь, которую потом зовешь духовной,

угадывать слова на сгибе фраз, не дожидаясь длинного ответа, в толк взять не в силах чуть не всякий раз, что ты совсем сказала не про это.

Начать сначала, только и всего! Затем и шторы затянули плотно. Иль ненадежно стало торжество, какому мы вверялись безотчетно?

Пусть не проходит, пусть ползет оно вдоль узких бедер, стянутых упруго, и с ног сбивает нас, а все равно нам дела нет отныне друг до друга.

Согни ладонь – прощаемся навек, затем и острова раздела осень. Уж, видно, так устроен человек, что мы цветенья долго не выносим, в бумагах душим, держим за душой, в подушки тычем, только бы далече, покамест ты становишься чужой и я тебя не узнаю при встрече.

Отбывают поезда с дачного вокзала, – ты бы прежде никогда правды не сказала,

трудно сердце отрывать от худого тела, завалиться бы в кровать, киснуть надоело.

Что ж качаешься без сна, споришь без ответа? Оттого ли, что тесна бедная планета?

И вроде бы виделись где-то, а где — я и сам не пойму, так что и гадать нам про это, выходит, и впрямь ни к чему.

А вот ведь гадаем, гадаем на тех, с кем ходили тогда, и все убавляем года им, себе набавляем года.

Загнали меня, замучили, забили меня, заездили, а нынче к самому лучшему да приноровись опять. Одно только будет странное – не надо, скажут, поэзии, но им перечить не стану я, засяду прозу писать.

Как будто по саду осенью пройду с деревянной лестницей, слова, хоть стихи мы бросили, опять встают на попа. Я их отпущу, как хочется, пускай от меня открестятся, не спросят имени-отчества — такая моя судьба.

В продутой сторожке прячется, к теплу, как бывало, просится причудам моим потатчица, и слазит с неба эмаль. В пучину пространной повести мне самое время броситься, да только, сказать по совести, прогорклой осени жаль.

Наступает новый год. На Тверской повсюду лед. По нему в былые годы не скользили мы с тобой, а теперь сей дар природы валит нас на мостовой.

а прихватит за пальто, значит, бросит под авто. Лучше сделаем покупки, то есть, как заведено, встану я за дамой в шубке, выбивающей вино.

Сколько лет, да сколько зим, мы под елочкой скользим. Но зачем, скажи на милость, в строку ставить ерунду – что теперь не получилось, выйдет в будущем году.

Жизнь идет, как шла досель, и вертится карусель, — поутру помыть посуду, со стола убрать еду, значит, я к обеду буду, а покамест я пойду.

Наступает Новый год. Так и жизнь твоя пройдет.

А ты, как водится, укромненько опять забилась в уголок, и спишь у радиоприемника, накинув на ноги платок.

А кто-то тикает, пиликает, и что-то делает не так, и ты разглядываешь лик этот, к виску притиснувши пятак.

А то опять пойдешь с полуночи звонить кому-нибудь из них, ославленных, ополоумевших от неизменных позывных.

И за окном ища спасения в насквозь прокуренные дни, глядишь на хилые растения, которым несколько сродни.

Да мы и сетовать не будем, хотя бы выдалось когда извлечь из выморочных буден свои погожие года,

а то воскресное ненастье преображает всякий раз простое наше беспристрастье в господни страсти без прикрас.

Я улыбнулся просто так, ну, улыбнулся, как случилось, – а ведь отвык, скажи на милость, от мягких девичьих атак, и говорю совсем не так, как мне бы даже и хотелось, – куда ушла былая смелость?

Я улыбнулся, как пришлось, а ты нечаянно спросила так незатейливо и мило, как обронила на авось, — Да мы знакомы с вами, что ли? И улыбнулась поневоле.

И ведь никак не вероломство тут наболтать бы языком, что я, хотя и не знаком, но завести непрочь знакомство, а отвечаю, как дурак, что улыбнулся просто так.

О, как он все же был рискован, шаг, совершенный напролом, – и Пушкин после жил под Псковом, и жил Тургенев под Орлом,

Шевченко - на Аральском море, а Лермонтов – у кислых вод, – винили в бунте и крамоле певцов бессмысленных свобод.

И мы, подробности разведав, потом судить обречены по биографиям поэтов о географии страны.

Когда стихи не ладятся и ладятся с трудом, надень простое платьице и берегом пойдем.

Оставим эти таинства до будущих времен, а сами покатаемся, на лодке поплывем.

Потянемся вдоль города за мокрой бахромой, которая распорота приземистой кормой.

Зачем же ты, красавица, все складываешь стих, хотя волна касается поджатых ног твоих?

Скажи-ка, невезучая, о чем ты все, о чем? Отложим ли до случая иль нынче наречем?

Глядишь, выходят книжицы у ласковых гуляк, а нам с тобой не пишется, не пишется никак.

Мы сидели на вокзале, пили водку и хватали захмелевших наших дев, а враждебная нам сила только музыку крутила, к потолку смычки воздев.

Добиваться не хотели, отчего к концу недели выходило вечно так, что, не в силах скрыть улыбки, нас фальшивящие скрипки покупали за пятак.

А в засиженном подвале потихоньку добирали крымский розовый мускат, и твердили музыканты, перебрав свои таланты, сколь прекрасен здешний ад.

Эти несколько строк,

эти несколько памятных строк,

уцелеть не могли

в накануне сожженной тетради, обратили их в прах,

и засыпал их легкий снежок, но они проступили

на рыхлой, обглоданной глади,

их прохожий топтал,

их потом исчертила лыжня, их в течение дня расклевали голодные птицы, и, как в давние годы, уходят они от меня, не желая и знать,

что холодное солнце садится.

Мы-то стали бы жить,

не ища запоздалой хвалы, не гадали бы мы.

чем судьба в эту пору чревата, да в сиреневый снег упираются сосен стволы, на макушках держа розоватую мякоть заката.

Работящие дятлы стучат в опустелом лесу, на разбитом шоссе

тарахтят, надрываясь, моторы, ты не слушаешь их, и уже я тебя не спасу, – нам сегодня едва ли

дадут хоть минуту на сборы.

Ты не слушаешь их,

ты отбилась от них навсегда, -

что велят, что хулят, что сулят -

да не все ли едино! -

в черной пасти земли

исчезают людские стада,

и скупыми буграми поныне изрыта равнина,

заметает ее суматошный, пушистый снежок, в оробелых строках не увидя особого смысла. Только стало темно,

кто-то свет на перроне зажег,

или это луна

над бетонной платформой нависла?

Я счастья жду. Так, видно, на роду судили мне, – терпеть и ждать, томиться и тосковать, и вглядываться в лица всем, кто идет навстречу. Я иду

на встречу с юностью. Случайный люд судачит, лжет, перемывает кости друг другу и заезжей нашей гостье, но вот она, и все в ладоши бьют.

Причем тут я? Да ведь скорей всего я тоже погружаюсь в эту веру и вижу за манерностью манеру, установив с ней тайное родство

отнюдь не душ! (Кто говорит, что душ, когда удушья!) Буду ли я кроток, пока ты задираешь подбородок, избыть стараясь в певчем горле сушь?

Едва ли. Да о кротости ли речь? Ужели смерть – смирения примета? Каков у Пушкина портрет поэта? «Хорош и кудри русые до плеч».

А тут недобрый взгляд, почти мужской, и волосы не то чтобы в порядке, и ко всему столичные ухватки, как у любой девченки на Тверской.

Так не довольно ль золоченых фраз, красот пространных и вопросов праздных? О сколько версий возникало разных, и все они нам внове всякий раз.

А только знаешь, странного ведь нет и в том, что страсть мытарствует в поэте, коль говорят, что он живет на свете за нас за всех. На то он и поэт.

Не верю путаным словам, раскрещенным, расхристанным, да что поделать, если к вам нет хода вечным истинам.

Лишь верю тусклым фонарям и расставанью нежному, о, до чего же я упрям, что верю им по-прежнему.

А время вытравить хоть часть мальчишеского норова, у старых лиственниц учась не ждать свиданья скорого.

Как странно бывает сначала, когда уже города нет, но ты еще долго держала записку и смятый букет,

потом показалось болото, пошел по дороге камыш, а если не стало кого-то, так разве на всех угодишь?

Давай-ка начнем понемножку глушить эту глупость в груди, прижмись потеснее к окошку, на голую землю гляди,

в колесном раскатывай визге оскомину первых потерь. Храни и цветы и записки, но где-нибудь на слово верь.

Конечно, истина стара, однако сетовать не будем, что от крестин и до костра поэт готов стучаться к людям,

и прав он там или не прав, об общем речь или о личном, он не кончается, прознав об одиночестве публичном.

Все покойники да покойники, а один молоденький, стройненький, — мало званых, и тесен круг, но осмелимся, и отважимся, и невежливо им навяжемся и спохватимся, да не вдруг.

Проливать бы не надо кровь ему, мог бы жить да жить по-коровьему, почитать себе хлев за храм, по соседству объесть орешники, и могли бы молиться грешники и доить его по утрам.

Не для ради детского платьица под откос пословица катится и встает из канавы стих, и покамест не выйдет случая, ест чахотка их, бьет падучая, а жалеть не надобно их.

Вот и любят посечь их розгами, да речами набавить броскими, да колючим додать дождем, батогами любят и палками, - и за белыми катафалками мы потом по жаре идем.

Мы проклинаем автоматы в конце натруженной недели, они, выходит, виноваты, что мы не свиделись доселе.

Не поразительно ли это – не сговориться о визите? Весь день звонишь: то нет ответа, то говорят – перезвоните!

Былой разлад души и плоти, опять настигший нас некстати, вы с удивлением найдете в обыкновенном автомате.

Монетка медная готова туда отправиться как сводня, но не доходит наше слово к тому, кто ждет его сегодня.

Прозаику нужны противовесы, пускай он сам не знает наперед, кто добр, кто зол, где ангелы, где бесы и что за путь он дальше изберет.

Зато ему доподлинно известно, на кой он ляд берется за перо, и в трудный год, оставшись вдруг без места, не зря он будет щуриться хитро.

Поэт и впрямь не ведает сначала, о чем пойдут невнятные слова. Его душа, как лодка у причала, бессмысленно качается сперва,

он присмирел, он понял – в этом весь я, он проклинает подлый жребий свой, покамест, выйдя вдруг из равновесья, не окунется в омут с головой.

Не сыщет он себе противовеса, его, как щепку, вытолкнет вода. И незамысловата эта пьеса, а вот поди-ка, нравится всегда.

И долго бродят робкие вопросы в умах у тех, кто спасся от греха: откуда рос подспудный хаос прозы и чем жива гармония стиха?

Теперь простимся, что ли, возлюбленный предмет? От высказанной боли спасенья, видно, нет.

Она ли нас томила, когда, прикрывшись тьмой, ты вздрогнула: «Что, милый? Ну, что ты, милый мой?»

А разве могут лица откинуться назад, рискуя провалиться в пустой, как пропасть, взгляд?

Сказала уезжая, не покривив душой: «И я тебе чужая, и ты мне, как чужой!»

Какая ж это сила сводила нас, пока вперед меня катила попутная река?

Ворочая каменья, зачем она течет туда, где нет забвенья, но жизнь моя не в счет?

Давай с тобой сообразим, как легче выбраться отсюда, – ужели ждать прикажешь чуда от этих рыхлых образин?

У них положенный уклад, им все известно – что как надо, пригубишь этого уклада и жизни собственной не рад.

Побудем все-таки вдвоем, коль подошла пора прощанья. Мы нарушали обещанья, теперь их сызнова даем.

А впрочем, – в этом ты права, – и впрямь нам расставаться надо, пускай сперва пройдет досада и горечь выгорит сперва.

Я сам не свой, и в этом весь, хорош, дурен, – известно богу, а он вздыхает понемногу и в душу ты к нему не лезь.

Роняем хрупкие слова, какое в цель, какое мимо, а жизнь бежит непоправимо, хотя я жив и ты жива.

Ты предашь меня в первый же день, как пойдет колея под откос, хоть писать и покажется лень для проформы потребный донос.

Ты предашь меня в первый же раз, когда явится повод к тому, из невольно сорвавшихся фраз выскребая Сибирь и суму.

Ты не хочешь меня предавать, подтверждать очевидную ложь, и, однако, опять, и опять, чуть попросят, меня предаешь.

А что как мы спасемся, хоть раз и навсегда, от позднего знакомства и ложного стыда, от выморочной смуты заложенных седин, — мы ломаны и гнуты, а век на всех один.

К чему же напоследок растерянно жалеть, что дым от листьев едок и долго тлеет медь, что портится погода, что холодно опять, — в такое время года и это благодать.

А я обыденной обидой не зацеплюсь за злобу дня, вот только ты меня не выдай и не подзуживай меня.

Еще я выдохнусь, покаюсь и прокляну пустые дни, ты не суди меня покамест, ты погоди, повремени.

Беда какая, что повсюду хозяин кто-нибудь один? Мы как чумные верим чуду и за причудами следим,

сличаем истины пристрастий с тем, что прощать не станем впредь, в неотягчающем пространстве тела пытаясь простереть,

и различим, презрев приметы, как день прибьется к мостовой, шурша обрывками газеты и распластавшейся листвой.

А долгожданная расплата, – пусть не за совесть, так за страх, – взовьется пламенем заката на присмиревших небесах.

Если мы до осени все же доживем, встать бы нам колосьями, лечь бы нам жнивьем, –

не путями торными, пусть бы стороной, пасть бы только зернами в липкий перегной.

В книготорговческих витринах Двенадцать цезарей стоят. Л.Мартынов

Двенадцать цезарей – двенадцать мерок для выраставших на иных химерах; так разве мы напрасно говорим, что, становясь с годами непреклонней, распространяет власть свою Светоний уже и на второй и третий Рим.

Крушенье царств не рушит нрав империй: дрожал от страха, сея страх, Тиберий, сводя с ума, сходил с ума Нерон, и даже трезвый ум Веспасиана не упразднил обычного обмана, и добрый Тит напрасно занял трон.

Пусть даже остаются на прилавке из давних жизней вырванные главки, напрасно все же думает поэт, что если древним не была знакома щербатая поверхность космодрома, и нам до древних тоже дела нет.

А если нам и впрямь нет больше дела до вот уже последнего предела испытанной премудрости отцов, Светоний, подтверждая наше сходство, хоть медленно, да верно разойдется, и огорчать не стоит продавцов.

Ну что опять сидишь, как сыч? Тут ничего и нет такого. Ты только людям в нос не тычь, что век свой прожил бестолково.

Пускай в глаза не видел той, которой богом был обещан, а доверялся ведь порой самоотверженности женщин,

к ней приникал как вьюн к стволу, и осознать не мог возврата к тому веселому числу, где познакомились когда-то.

А за внезапным рубежом, какого вроде бы и мало, уже как к горлу вдруг с ножом пустая местность подступала.

Еще влезали в зеркала твои белесые светила, да только искренность лгала, и правда за нос нас водила.

Сползал с ветвей набухший снег, слипаясь в корку ледяную, навек отрезавшую тех, кого я больше не ревную.

А в общем январь как январь, свирепствуют вьюги, как звери, да ветер, бездомная тварь, нечаянно всхлипнет у двери.

Он вроде бы просится в дом, на дверь, между тем, налегая. Ее отодвинешь с трудом, и вьюга подскочит нагая.

Не требуй добра в январе, ветрам не заглядывай в лица, зазря не ищи на дворе того, что вперед пригодится.

Но разве души не отдашь за то, чтобы встретить снаружи нечесаный зимний пейзаж, совсем ослабевший от стужи?

Иду на то, чтоб даже злее, чем это было испокон, меня встречал в пустой аллее осатаневший листогон, —

мне лишь бы голые деревья, стряхнув недолгий свой наряд, конец означили кочевью, которым город весь объят.

И обнаженными стволами пересекая небеса, пускай проведали бы сами, что нагота и есть краса

и правда осени, в которой взор любопытного найдет границу жизни, слишком скорой, и нетерпенья поздний плод.

Покуда снег идет, прикрой плотнее двери, гляди, не торопясь, в набрякшее окно. Он ляжет бугорком на свежие потери, – уж так заведено, уж так заведено.

Покуда снег лежит, не доверяй намекам, которые капель позволит иногда. Дождаться бы весны, покуда бы намок он и вышла на ледок стоячая вода.

Покуда тает снег, не жди себе пощады, от беглых льдов не жди и от воды не жди, и то, как поглядеть, чему это мы рады? Тому ли, что с утра заладили дожди?

Покуда снег сошел, живи себе на свете, довольный, что в траве отыщется ночлег, не слушай допоздна, как повторяют дети: А скоро будет снег! А скоро будет снег!

Не странно разве это было, что ты не делала мне зла? Ты только с ног меня валила, ты только в дом меня звала.

И воскресала от кресала, от искры, тлеющей в золе, и никуда не исчезала, пока была навеселе.

А я запомнил без запинки вперед размеренный запой, твой пофиль злой, где ни кровинки, и кривотолки вперебой.

И хоть о прошлом не судачу, и даже проще налегке, храню, как редкую удачу, ту грудь пустую в кулаке.

Сверкни зубочками из мела, мне не содеявшими зла. Причем тут черная измена, – ты как была, как лен бела.

Но все упрямей год от года, собой, как водится, горда, приходит зыбкая свобода не озираться никогда.

Беду веревочкой завей! – тебе твердят некстати. Кричи бесстыдно о своей особенной утрате.

Но не цепляйся за гроба и удержись от крика, коль скоро каждая судьба твоей равновелика.

Сорок лет, перелом, не навет, поделом,

не за так, не зазря слизь и мрак сентября.

Нынче вновь твой черед, красит кровь, а не лед.

Хоть до дна доплыви, смерть красна от крови.

Поделом, не навет. Перелом, сорок лет,

чистый слог без вранья. И не бог, и не я.

В тот день инфанта Изабелла к обеду позвала гостей, и ты ни разу не присела и угодить старалась ей.

Пока решал веселый Рубенс, какой ты явишься у нас, о чем ты думала, потупясь и отводя косящий глаз?

Или всегдашняя забота опять терзала полотно — о чем задумается кто-то, кому понравится оно?

И посылать его к инфанте, чтобы просил твоей руки, или сказать ему: «Отстаньте!» круженью сердца вопреки?

Вот если не было бы риска, что он - подлец, обманщик, вор, еще могла бы камеристка не отводить свой детский взор,

могла бы жить легко и смело, не пряча в кружеве лица, и на меня бы поглядела в постылом сумраке дворца.

## СОДЕРЖАНИЕ

## Горстка снега 1953-1958

Есть некие слова	4
Весна убегает по следу	5
В конце апреля настигает	
А был он – детина огромного роста	7
Давным-давно, не помню дня	
Заборы да заборы	9
Когда судьба не ладит с нами	10
Пустым пророчествам не верь	11
Жил, как жил, как люди жили рядом	12
С какой-то странной силой	
Как безответна в январе	14
Я живу в небывалой стране	15
Зима бредет по крышам	16
Пройдет, как ей положено, любовь	17
Не хочу я пересчета	18
Кому достается даром	19
Опять за окном убегают платформы	20
В рассветной суматохе	21
Пришла весна похожая	
В тот длинный год, глухой и злобный	23
Свинцово-синий небосклон	
Вновь дождь по крыше бьет дощатой	25
Приметы осени просты	
Зима безжалостно сковала	
Снег идет большими хлопьями	
Я музыку Бизе к «Арлезианке»	
Кто-то был, кто жил в тревоге	
Вот и снова опасность нависла	
Уносится дней вереница	
Не мудрствуя лукаво (венок сонетов)	33

## Яблоки в подоле 1959 – 1961

Опять в права вступает лето	44
Изобилием наречий	46
Случались на веку моем	47
Даром что ль седые плиты	48
И вот мы опять	
Прости, прости, – сказать короче	50
Серебряные птицы	51
Художник и прожил недолго	52
Опять на бархатном диване	
Так вот она, станция Пери	54
Старею, кажется, старею	55
Ты уедешь, я уеду	
Листва горит на кленах	
Снова осень	58
Снег заносит мостовые	59
Выходит, вновь играть в молчанку	60
Прощай, простимся навсегда	61
В этом городе тягостно летом	
Да простит меня бог	
Мы, колдуны и шаманы	64
Что ты лампу не зажег	65
Белые ночи	66
О, знать бы мне заранее	
Старинный скит	
Опять похолодало	69
И мы ведь тоже здешние	
Особое есть свойство	
Люблю, робею, доверяюсь, таю	72
Я не печатаю стихов	
Другим не плачу и собой не торгую	74
Где-то, видимо, сломалось	
Спасаемся	
Твоим пророчествам не верю	77
Отступаемся не вдруг	78

Таков уже, видно, порядок	79
Когда отходит новизна	80
При свете дня 1961 – 1962	
Ушла последняя волна	
Засыпаем, но не высыпаемся	
С этих пор довольный малым	
Куда девать души своей излишек	
Этот город, забытый и брошенный нами	
За углом, – не за этим, так, значит, за тем.	
Заурядный день осенний	
Играем в странную игру	89
В Елабуге что ли	
Смятенье и надменность	
Узких улиц переплеты	
Что бы там ни говорили	
Ты что затеяла опять	
Так вот он, отрезвленья час	
Не то чтобы выгляжу старым	
Кто лжет, что мы похожи друг на друга	
Есть конец кончины	
Не загадывай загадок	
Где ты, птица-небылица	
Пробудилась ото сна	
Выходит, отступаться нам от весен	
Прощай, не взыщи, моя радость	
Сидим вдвоем и водку хлещем	
Я не люблю твоей манеры	
Поэтом брошенное слово	
Никому не читаю стихов	
Тоска на сердце налегала	108

## Лиственная аллея 1962 – 1963

А ты, как была, такая	110
Погоди, роптать не надо	111
Ты, говорят, меня любила	112
Вы едва ли хоть раз	113
Жизнь уходит понемногу	114
Стихи минувшие листаю	
И снова смерть, и снова даль	116
Судьбу свою калеча	117
Мы жили без дела на воле	118
Когда оставит в дураках	
Как просто верить женщине одной	120
Когда отсыпаюсь от боли	121
Обучаюсь верности старинной	122
Заря довезла до вокзала	123
Что значит живопись	
Руссо не знал про Робеспьера	125
Присутствует в музыке Баха	
Изверясь и измучась	
А одна знакомая женщина	
Валит, валит сегодня с неба	
Ульянов Александр, студент-биолог	130
Мы сущий вздор несем сперва	131
Отрекаться, пожалуй, не буду	
Пускай бы даже и не вышло	133
А если будет беда	
Уже обрываю щемящую боль	135
И не то чтобы мне дороги	
Пришло тебе на ум	
Живем, не можем сдвинуться	138
Уверяют староверы	139
Пишу по-прежнему стихи	140
О, сколько их было	
Поныне в виде бога Марса	
Не трогал бы – уронишь	143

Не живем, - то есть богу не молимся	144
Не замечают собственного сходства	145
Отучись глядеть назад	146
•	
Парапет 1963 – 1965	
	4.40
Когда увижу на стене	
И не сумеешь снять покров	
В захламленной летней квартире	
К весне идет, и вроде тает	
Мы не дачники, мы неудачники	
Опять дожди	
Уже ненастье две недели	
Теперь на улице ветрено	
Наставительно говорили	
Осенний день	157
Отбывают поезда	159
И вроде бы виделись где-то	160
Загнали меня, замучили	161
Наступает новый год	
А ты, как водится, укромненько	163
Да мы и сетовать не будем	
Я улыбнулся просто так	
О, как он все же был рискован	
Когда стихи не ладятся	
Мы сидели на вокзале	
Эти несколько строк	
Я счастья жду	171
Не верю путаным словам	173
Как странно бывает сначала	
Конечно, истина стара	
Все покойники да покойники	
Мы проклинаем автоматы	
Прозаику нужны противовесы	
Теперь простимся что ли	
Давай с тобой сообразим	
Hazar o 10001 0000 paorini	100

Ты предашь меня в первый же день	181
А что как мы спасемся	182
А я обыденной обидой	183
Если мы до осени	184
Двенадцать цезарей	185
Ну что опять сидишь, как сыч	186
А в общем, январь, как январь	187
Иду на то, чтоб даже злее	188
Покуда снег идет	189
Не странно разве это было	190
Беду веревочкой завей	191
Сорок лет	192
В тот день инфанта Изабелла	

Подписано в печать 05 .08.2013г. Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная. Печать лазерная. Усл. печ. л. 11,4. Тираж 50 экз. Заказ № 2767

Отпечатано в ООО «Издательство "ЛЕМА"» 191014, Россия, Санкт-Петербург, Ул. Жуковского, д.41, тел./факс: 401 01 74 e-mail: izd\_lema41@mail.ru http://www.lemaprint.ru